

## РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБАХ АНТРОПОЛОГИИ

УДК 338:001.895 (4/8)

DOI: 10.17223/2312461X/14/2

### БУДУЩЕЕ АНТРОПОЛОГИИ: кросс-, интер-, мульти-, транс-, а- или постдисциплинарность?\*

---

Сергей Валерьевич Соколовский

**Аннотация.** Рассматриваются различные формы и модусы дисциплинарности и оформления дисциплинарных знаний и практик. Ставится проблема множественности форм взаимодействия дисциплинарных и внедисциплинарных знаний и практик. Анализируются некоторые хронологические парадоксы, связанные с модерном и постмодерном. Основным объектом рассмотрения и материалом для анализа является история российской антропологии и ее субдисциплин за последние полвека.

**Ключевые слова:** антропология, этнология, будущее, субдисциплина, дисциплинарность, прогноз

В статье не рассматривается будущее антропологии вообще – к такого рода обобщению автор не готов в силу недостаточного знакомства со многими другими традициями антропологических исследований за рамками российской. Речь пойдет о дисциплинарности и постдисциплинарности, об изменяющихся конфигурациях знаний в социальных науках и гуманитарных дисциплинах, но основным *материалом* для этого разговора станут ситуация в сегодняшней российской антропологии, тенденции ее изменения, новые и еще только формирующиеся тренды и более устойчивые векторы этих перемен. Разумеется, это не означает, что размышления по поводу конкретного случая не могут быть приложимы к другим исследовательским традициям за рамками российской антропологии, просто такие обобщения будут носить заведомо более спекулятивный характер.

Свежий человек, приближаясь к любой новой для него дисциплине, поначалу обнаруживает вместо выраженных на простом и доступном языке ясных и стройных суждений лишь умолчания, пропуски, странные увлечения предметами и сюжетами, практическому разуму чуждыми, проблемами, которые выглядят надуманными. Знакомые со сту-

---

\* Пленарное выступление на Международной научной конференции «Антропология в поисках нового языка описания (I Томский антропологический форум)». 16 сентября 2016 г.

денческой скамьи дисциплины воспринимаются как свои и родные, а остальные – как чуждые. В результате, сделав некоторое усилие и напрягая всю свою объективность, мы можем еще как-то уважать иные дисциплины, но любить их, а тем более хорошо знать – не обязательно и обычно относится к области очевидных и памятных исключений. Все это, если дело обстоит именно так, не может не иметь следствий для так называемых междисциплинарных исследований, поскольку сказывается на характере альянсов между представителями различных дисциплин или на особенностях синтеза, иногда в результате таких альянсов все же достигаемого. Несколько опережая события, а опережение событий, как я надеюсь обсудить ниже, – характерная черта нашего времени, я вслед за некоторыми вполне постсовременными, а точнее, если воспользоваться выражением Б. Латура, «никогда не бывшими современными» исследователями, рискну заподозрить, что погружение в представления другой (то есть не твоей собственной) дисциплины скорее всего является столкновением с иным миром, с иной онтологией, перекодирование которой в термины собственной если и предпринимается, то обычно заканчивается фиаско: физик расценивает рассуждения историка если не как фантастические, то определенно как недопустимо спекулятивные, во всяком случае, не поддающиеся экспериментальной проверке, а стало быть, как досужие мнения, но никак не аргументированные и подкрепленные фактами суждения. Как же взаимодействуют дисциплины, если допустить предположение, что они описывают не один мир из разных перспектив, а действительно различные миры с разными акторами? Это вопрос риторический, поскольку удовлетворительного ответа у меня на него пока нет.

Кроме этого существенного вопроса возникает и еще один, связанный с проблемой целостности, автономности и идентичности дисциплин. В истории философии есть парадокс, именуемый парадоксом корабля Тесея. Напомню суть этой истории: проникнув в лабиринт с помощью Ариадны и ее нити, Тесей убивает минотавра и триумфально возвращается в Афины, освободив из плена афинских юношей. Благодарные афиняне решают сохранить его потрепанный бурями и изъеденный морскими червями корабль, но поскольку хранится он не в сухом доке, а на воде, черви продолжают свою работу, и с течением времени каждая из частей корабля заменяется на новую. Парадокс, вызывающий дискуссию среди современных метафизиков, заключается в вопросе, можно ли продолжать считать этот корабль кораблем Тесея, или в более общей постановке – сохраняет ли свою идентичность объект, если все его части были со временем заменены на новые. Применительно к научным дисциплинам этот парадокс проявляет себя при отслеживании истории практически любой из дисциплин – ведь с течением времени меняются ее приоритеты, цели, задачи, методы, иногда да-

же и сам предмет, и остается лишь идентичность ее самой и профессиональная идентичность практикующих эту дисциплину людей, которая (идентичность), впрочем, тоже ведь становится иной и внутренне и внешне, с позиций представителей других дисциплинарных сообществ. Научные дисциплины во многом подобны кораблю Тесея – нужна постоянная работа по сохранению идентичности, если можно так выразиться, столблению и брендированию дисциплинарных подходов, теорий и методов, как принадлежащих именно ей, охране ее границ и т.д. и т.п.

В основе парадокса корабля Тесея лежит, разумеется, понятие тождества, которое можно определять по-разному. Нам нет нужды погружаться в философию тождества и многочисленные его трактовки. Нужно лишь обратить внимание на то обстоятельство, что *дисциплина* в отличие от корабля не представляет собой чувственного объекта; скорее это объект интеллигибельный, поддающийся лишь нашему концептуальному схватыванию. В этом случае проблема его тождественности оказывается, как мне кажется, еще более сложной. К тому же остается неясным, что считать частями любой дисциплины, а в частности – антропологии, ведь специализации, направления исследований и субдисциплины, из которых она вроде бы состоит, могут иметь, так сказать, «двойное гражданство».

Случай российской антропологии хорошо иллюстрирует это обстоятельство. Общее число субдисциплин или проблемно-тематических специализаций в ее рамках (если не учитывать сообществ с дюжиной исследователей, концентрирующихся на изучении довольно узких вопросов) насчитывает, в зависимости от избранных критериев, 10–15 проблемно-предметных областей, в которых используются существенно различающиеся методы. К ряду наиболее многочисленных и традиционных для нас направлений исследований можно отнести: 1) этнографическую фольклористику; 2) политическую антропологию, или, скорее, этнополитологию; 3) этнографическое регионоведение; 4) физическую или биоантропологию; 5) историческую этнографию, включая исследования этнической истории и этногенеза (в том числе и так называемую этноархеологию) и 6) историю этнографии / этнологии / антропологии. Последнюю упоминаю просто в силу того обстоятельства, что занимаются ею у нас обычно не историки науки, а сами этнологи и антропологи.

Все эти направления плюс юридическая антропология (область исследований, уходящая корнями в дореволюционную антропологию права, но почти не развивавшаяся в период 1930–1970-х гг.) можно отнести к первой волне дифференциации и специализации антропологического знания. Вполне очевиден гибридный характер проблемных полей этих дисциплин и обмен методами, подходами и знаниями в каждой из них с соседними: этнографы, занимающиеся изучением фольк-

лора, охотно сотрудничают, а иногда и сами одновременно являются лингвистами, литературоведами или критиками культуры; регионоведы нередко имеют историческое, географическое или востоковедческое образование и используют подходы и методы этих дисциплин; биоантропологи обычно прекрасно знакомы с физиологией и некоторыми разделами медицины; историки науки опираются на источниковедческие методы собственно исторической профессии, хорошо знакомы с архивным делом и стараются следить за работами в области общего науковедения, а не только истории своей дисциплины. Случаи этноархеологии и юридической и политической антропологии достаточно прозрачны, чтобы их комментировать.

В 1970–1980-е гг. число гибридных направлений, которыми занимались, что важно, сотрудники этнографических подразделений и центров, умножилось за счет возникновения и институализации таких субдисциплин, как этнодемография, этносоциология, этногеография, этнопсихология, этнопедагогика, этнополитология и городская антропология, что и составило содержание второго этапа дифференциации отечественного антропологического знания. На третьем этапе, в конце 1980-х – начале 1990-х гг., свое институциональное воплощение в виде исследовательских специализаций и центров получили этнополитология, этноконфликтология, этногендерные исследования, медицинская, экономическая и визуальная антропология. Наконец, сегодня мы становимся свидетелями четвертой волны фрагментации или дифференциации антропологического знания, хотя вести речь об институциональном оформлении таких новых для России направлений, как антропология организаций, государственного управления и администрирования, бизнеса, спорта, искусства, медиа, технологий, науки, моды, досуга, чувств и телесности, пока рано (появились лишь диссертации и первые публикации).

Даже этот заведомо неполный перечень субдисциплин и контактов антропологических исследований с разными прочими, соседними и не слишком, выразительно говорит о характере современного научного знания, не умещающегося в прокрустово ложе дисциплинарных границ. Как же быть в этом случае с идентичностью дисциплины, постулируемой как некоторое единство, но в действительности фрагментированной на внушительное число вполне самостоятельных направлений и групп интересов, импульсы развития которых мало зависят от, так сказать, материнской науки, являясь для нее, как правило, внешними? К тому же эти импульсы возникают не одновременно, так что смело можно говорить о гетерохронности предмета, который дисциплина якобы охватывает или на охват которого претендует, и неопределенности ее границ.

Существует и еще одна сложность при разговоре об актуальном состоянии или будущем дисциплины. Любая попытка говорить объективно, а ведь в такого рода говорении, как кажется, и заключается претен-

зия на научность, принуждает нас превращать все то, о чем мы рассуждаем, в объект, персону или вещь. Претензия на объективность неизбежно связана с опредмечиванием, персонификацией или реификацией тех фрагментов действительности, о которых мы пытаемся повествовать. Когда мы только еще приступаем к обсуждению состояния или динамики развития научной дисциплины, мы уже зачастую ее *персонифицируем*, сообщая ей не только общие для тропов объектификации и реификации пространственно-временные координаты, т.е. детали дисциплинарной истории и географии, но также идентичность, из которой как бы само собой следует наличие интенциональности, воли и агентности, т.е. обладание такими характеристиками, как целеустремленность, решение якобы ставящихся самой дисциплиной задач, претерпевание испытаний, даже радость свершений и т.д. Труды по истории науки полны такими штампами, и эта стилистика чрезвычайно распространена. В силу такого положения вещей история практически любой дисциплины излагается едва ли не в соответствии с пропповской моделью волшебной сказки. Конечно, не все пропповские функции оказываются представленными в описаниях каждого из конкретных периодов в такой истории, но мы почти неизбежно сталкиваемся в каком-нибудь из них с мотивами *нарушения запрета, выведывания сокровытого* (у природы, культуры, общества или просто – у чужаков), *пособничества* или *вредительства, посредничества* и *противодействия, дарительства* и *борьбы, победы* и *избавления, квеста* и *преображения*.

Конечно, в отличие от волшебной сказки, нарратив дисциплинарной истории не размещает эти функции и их носителей или персонажей в тех же самых последовательностях и конфигурациях, что присущи сказке, однако, если воспользоваться несколько огрубленной оптикой и обратить внимание, например, на то обстоятельство, что практически любой такой нарратив можно свести к трем вариантам – *экстерналистскому* (все перемены объясняются внешними обстоятельствами, т.е. действием сил, находящихся за пределами дисциплины или науки в целом), *интерналистскому* (все развитие диктуется внутренней динамикой развития дисциплины и ее «героев») и *комбинацией* первых двух, то мы увидим почти полную аналогию с отчетами о поведении человека, в зависимости от того, имеет ли он внутренний или внешний локус контроля, что и можно рассматривать как свидетельство работы тропа персонификации. Противодействие такому нарративу – дело сложное, поскольку приходится бороться не только с собой и материалом, но и со сложившейся традицией повествования, и нам с вами придется начинать постепенно, и если повезет, то, быть может, удастся обнаружить нужную манеру изложения таких историй.

Еще одним распространенным приемом или повествовательным тропом в историях разных дисциплин, логически вытекающим из тропа

персонификации, является внушаемое ею представление о *гомогенности* конкретной дисциплины. В самом деле, раз речь идет о чем-то едином, уникальном, автономном, целостном, имеющим собственное наименование, то возникает соблазн воспринимать данную область знаний или исследовательских практик как действительно подчиненную идеям единства и целостности, обладающую собственным характером, т.е. однородную в ряде существенных аспектов. Понятно, что вся история антропологии в любой ее исторической или национальной манифестации просто восстает против этого представления, поскольку трудно вообразить, что ши и лапти исследуются на основе тех же методов или подходов, что и вожества или межплеменная рознь, или что политическая антропология может иметь общую почву, например, с дерматоглификой. Какие именно аспекты дисциплинарных практик и концептуализаций кладутся в основу представления о единстве дисциплины – вопрос особый, но без его решения вряд ли удастся внятно представить междисциплинарные взаимодействия. Да и являются ли они в действительности взаимодействиями между дисциплинами, а не, скажем, между специфическими и достаточно узкими проблемными полями, требующими по ходу своего развития все новых знаний из самых разных провинций? Историкам науки все это должно напомнить споры начала 1970-х гг. о формировании нового типа знаний, для обозначения которого австро-американский астрофизик Эрих Янч (Jantsch 1972) собственно и предложил термин «трансдисциплинарность», продолжающий вызывать оживленные дискуссии.

Антропология, именовавшаяся в некоторые периоды своей истории и в разных национальных традициях также этнографией, этнологией или народоведением, с самого начала и независимо от того, были ли ее объектами культура крестьянства или так называемые примитивные народы и общества, осуществлялась как дисциплина сравнительная. Сравнение нередко было *имплицитным* – особенности иной культуры или общества опознавались в своей уникальности лишь на фоне культуры или общества самого исследователя, что не всегда им самим учитывалось, однако сравнение в некотором смысле, в особенности если иметь в виду дисциплину в целом, являлось ее неотъемлемой частью и стандартной процедурой. Сравнение разных объектов оказывалось, однако, возможным лишь при постулировании их онтологической или концептуальной *эквивалентности*: общество (народ или культуру) можно сравнивать с другим обществом (народом или культурой) только потому, что они полагаются некоторым образом сопоставимыми. Иными словами, в основе антропологии, вопреки ее практике изучения уникальных культур и сообществ, лежала идеология универсализма, и ее специфическим объектом являлась вариативность универсального, т.е. спектр различий в границах универсальных категорий. Кросскуль-

турные сравнения поэтому, в общем, не рассматривались как кросс-дисциплинарные (иными словами, при всех различиях антропология Китая не рассматривалась как отдельная дисциплина от, скажем, антропологии Океании, но лишь как региональная специализация в рамках одной дисциплины).

Еще в 1908 г. в своей инаугурационной речи в Ливерпульском университете Джеймс Фрэзер отмечал, что классическая антропология (с ее фокусом на изучении так называемых примитивных народов, или, на жаргоне марксистской этнографии, первобытности) близится к своей кончине за счет исчезновения объектов ее изучения. Более полувека спустя о том же писал Леви-Стросс (Levi-Strauss 1966). Оба верно предсказали неизбежную смену фокуса антропологических исследований, хотя и несколько ошиблись в сроках ее наступления. С тех пор прошло еще полвека. Оглядываясь назад, мы можем утверждать, что произошла серия радикальных перемен как в отношении границ предмета дисциплины, так и в отношении ее места в системе разделения научного труда, а в последнее десятилетие возникли основания для проблематизации самой этой системы разделения труда в науке в целом.

Задумаемся, о чем идет речь, когда кто-то говорит об исчезновении предмета или объектов (*subject matter*) дисциплины. Действительно, дисциплины, занимавшиеся исключительно предысторией (археология, антропология и собственно история так называемых бесписьменных культур и обществ), каждая по-своему, в разное время и в силу разных обстоятельств, но столкнулись с пресловутым «исчезновением» если не предмета вообще, то своих «традиционных» объектов и традиционной же манеры их изучения. Главными факторами здесь вполне ожидаемо стали деколонизация и рост национального самосознания, а также модернизация и урбанизация. В антропологии фокус на традиционности позволил постепенно перейти от «традиционных культур» к культуре современной и собственной, и от ритуала – к рутинным обычаям и даже обыкновениям или привычкам повседневного поведения. Правда, здесь возникли сложности в размежевании с социологами и психологами, в особенности с теми из них, кто предпочитает использовать не опросный инструментарий и количественные методы, а опирается в своих полевых исследованиях на этнографию и другие качественные методы. Я думаю, что примеры социологии повседневности, а в случае советской этнографии и так называемой этносоциологии – хороший повод для разговора о меж- или интердисциплинарности на этнологических и антропологических материалах.

Чтобы понять специфику дисциплинарного знания, уместно вспомнить то обстоятельство, что дисциплины в современном смысле слова начали оформляться в основном на рубеже XVIII и XIX вв., что было обусловлено как математизацией знания и разработкой более строгих

методов исследования, так и оформлением специализированных систем понятий и профессиональных жаргонов, уже не сводимых к терминам обыденной речи.

Дифференциация знания и его экспоненциальный рост остро поставили проблему классификации накопленных фактов и их упорядочения. Сменилась и эпистемическая установка, и если прежде знания об объектах, как предполагалось, достигались за счет ничем не опосредованного взаимодействия с ними – опытного или спекулятивного, то теперь, при складывающемся *дисциплинарном* модусе познания, между объектом и субъектом встали производимые сообществом носителей дисциплины концепты – специально разработанные понятийные средства для описания и изучения объекта в модусе этой дисциплины. Проблематизация и концептуализация превратились в удел специально подготовленных профессионалов, а не широкой публики, воспринимающей мир в категориях обыденного сознания. Созданный в тот период разрыв между обыденным и профессиональными языками ощущается и сегодня, формируя, как и тогда, необходимость длительной профессиональной социализации и специализированного обучения и имея своим следствием закрытие научных сообществ для публики за счет образования специализированных каналов коммуникации – конференций, академических журналов, сугубо научной литературы, производимой и потребляемой, в основном, внутри различных дисциплинарных сообществ. Как сказал один ученый из Новосибирска в 2000 г., когда я, чтобы понять, как обстоят дела с дисциплиной за пределами Москвы и Петербурга, интервьюировал этнографов из других исследовательских центров, «я пишу для трех-четырех моих коллег, поскольку больше в этих сюжетах никто по-настоящему не разбирается».

Если прежде, т.е. до становления современной системы дисциплинарного разделения труда, ведущими жанрами ученых писаний были трактат для широкой публики, учебник или руководство, то в наступившую затем эпоху господства дисциплинарного знания ими стали статья в специализированном журнале или монография в издательстве, опять же специализирующемся на изданиях в области социальных или естественных наук. К началу XIX в. дисциплинарная дифференциация научного знания зашла столь далеко, что возникла озабоченность по поводу возможностей его синтеза в единую картину. И если прежде парадигматическим примером ученого был энциклопедист и мыслитель, публикующий, как, например, М.В. Ломоносов, работы по математике, химии, геологии, оптике, поэтике и т.д. и т.п., то теперь им стал узкий специалист, эксперт. Понятно, что экспертный модус производства знаний имеет как достоинства, так и очевидные недостатки, создавая значительные препятствия не только для понимания его результатов широкой публикой, но и для практического использования добыва-



емых дисциплиной знаний, а также для их адекватного понимания и использования членами других дисциплинарных сообществ. Это все тривиально, но без такого напоминания сложно анализировать специфику междисциплинарных взаимодействий – разнокачественных контактов, альянсов и размежеваний, в которые на разных этапах своего существования вступала, например, советская этнография или ее наследница – российская антропология. Одним из таких парадигматических примеров был ее альянс с социологией.

Социология в СССР в какой-то из моментов – можно его точно датировать концом 1960-х – началом 1970-х гг. – оказалась заражена вирусом теории этноса. Теория этноса, отвлекаясь от ее более ранних версий начала XX в., т.е. по Ю.В. Бромлею, исходила из вполне разумного предположения, что народы существуют, но делала из данного факта неверные выводы об автономности этих сущностей или, иначе говоря, их исторической субъектности. То, что было литературно-историческим штампом (к примеру, как это часто пишут в публицистике, русский народ «желал», «намеревался», «страдал», «боролся» и проч.) превратилось в версии Бромлея (не без влияния, впрочем, концепций ассимиляции, заимствованных у американских коллег) в развернутую теорию этнических процессов, взаимодействующими элементами в которых оказались не индивиды, и даже не их локальные сообщества, а этносы. Заимствование готовой концепции для концептуализации различных изменений в культурно сложных средах могло бы пойти совершенно иным путем, если бы интерпретативной рамкой оказались, скажем, локальная культура, субкультура, местные сообщества, а не культурно и социально мозаичные конгломераты, схватываемые концептом «этнос».

В рамках обсуждаемой здесь темы нас, однако, должен интересовать лишь тип междисциплинарного взаимодействия между тогдашней советской социологией, делавшей, впрочем, лишь первые шаги после многочисленных разгромов, и советской этнографией, в силу исторических обстоятельств оказавшейся в некотором преимуществе в плане большей на тот момент свободы от идеологического надзора. Это был особый тип симбиоза между взятой напрокат *концепцией* из одной дисциплины и *методами* и исследовательскими подходами другой (в то время это были главным образом массовые анкетные опросы). От такого симбиоза ожидалось многое, однако не было ни внятной теоретической перспективы, ни, стало быть, вытекающей из нее четкой постановки проблемы, в силу чего псевдотеоретический пузырь в виде «этносоциальных организмов», в рамках которых надлежало исследовать якобы специфические для каждого из них социальные процессы, дал довольно странные плоды, теперь более рассматриваемые как курьезы. Но так ли уж плоха, если брать общий случай, попытка соединения заимствованной из соседней дисциплины концепции и собственных ме-

тодов? Все дело, видимо, в качестве концепции. Например, в другом случае – случае социологии повседневности, когда социологи заимствовали не чужую концепцию, но к тому времени уже сложившийся и хорошо известный метод – собственно этнографию с ее включенным наблюдением и вниманием к микроконтексту, оказался гораздо более удачным, и прививка этнографического метода к социологическому тезаурусу предоставила социологам фактически новое для них поле и дала, во всяком случае у нас, многочисленные ответвления в виде социологии профессий, новой социологии материальности и т.д. Разумеется, если вспомнить Альфреда Шюца или Георга Зиммеля, можно привести и иную генеалогию этой синтетической субдисциплины, отслеживая ее истоки в феноменологической социологии (т.е. в заимствовании подхода у философов, а методов – у антропологов), но в данном случае, поскольку фокусом рассмотрения здесь остается все-таки антропология, в центре нашего интереса оказываются именно ее взаимодействия с другими дисциплинарными знаниями, методами и концепциями, а вклад ее в социологию повседневности, я думаю, очевиден.

Заимствование знаний, методов или концепций ставит вопрос о возможных *типах* синтеза, которые реализуются в ходе междисциплинарного взаимодействия и имеют результатом *методологическую, теоретическую или комплексную* интердисциплинарность.

Что же можно сказать относительно будущего антропологии, хотя бы «в одной, отдельно взятой стране»? Если стремиться найти устойчивые тенденции или тренды, которые помогли бы с прогнозом развития дисциплины, и попытаться рассмотреть историю практически теперь уже столетнего периода российской этнографии / этнологии после 1917 г. в режиме, так сказать, *longue durée*, то мы обнаружим лишь одну ее значимую характеристику – *экстерналистский характер любой существенной перемены* в ее концептуальном аппарате и теории.

*Первой* такой переменной, как все, наверное, помнят, стала «марксизация» дисциплины в начале 1930-х гг., приведшая к стойкому интересу к первобытности, размышлениям на темы эволюции семейной структуры и брака, матриархата и патриархата в духе Моргана–Тэйлора–Энгельса, длившимся почти полвека, вплоть до ухода с поста директора головного академического института (Института этнографии АН СССР) С.П. Толстова и прихода на этот пост историка-медиевиста Ю.В. Бромлея. По поводу первого этапа советской этнографии нужно ради справедливости отметить, что его содержание было ближе к центральным для социальной антропологии проблемам родства и эволюции социальных институтов, нежели последовавший за ним период фокусировки на этнической проблематике.

Вся вторая половина 1960-х и 1970–1980-е гг. в советской науке в целом, не исключая гуманитарных дисциплин, были эпохой увлечения

кибернетикой, информатикой, системным подходом, развитием количественных методов и экологией – все это под разными обличьями пришло и в тогдашний Институт этнографии АН СССР. Системный подход, например, нашел несколько применений, главным образом – в различных версиях известной теории этноса. Медиевистское образование академика, возглавившего институт, нашло себе применение в разработке формальных и отвлеченных (впрочем, по-своему логичных и вполне аргументированных) схем, а его приверженность греко-латинской терминологии – в сочинении новых терминов, появление которых ассоциировалось у неосведомленной публики с прогрессом возглавляемой им дисциплины. Сегодня, однако, мало кто вспомнит, не говоря уже о том, что станет использовать термины типа «этногенетической миксации» или «этномиграционной сепарации».

Еще менее удачной попыткой использования теории информации и системного подхода стала так называемая информационная концепция этноса В.В. Пименова, изложенная им в монографии «Удмурты: опыт компонентного анализа этноса» (Тиминов 1977). В основу этой концепции были положены результаты массовых опросов по осведомленности респондентов относительно различных сегментов традиционной культуры. Если исходная интуиция была вполне рациональна – представления о собственной этнической принадлежности вполне ожидаемо могут опираться на знания традиций того сообщества, к которому относит себя респондент, то попытка построить так называемую информационную модель этноса, очевидно, провалилась, поскольку ее автор не попытался ответить на вопрос, что такое традиционная культура, и определить, так сказать, экстенционал этого понятия и его границы. Он просто включил в его объем все без исключения стороны жизни респондентов: наряду с фольклором, хозяйством и социальным устройством – политические представления, экономику и т.д. Изощенный по тем временам математический аппарат (меры близости на основе коэффициента информации, специально разработанные математиком В.А. Устиновым, между прочим, помогавшим и Ю.В. Кнорозову в расшифровке письма майя) и использование факторного анализа смоделировали скорее структуру вопросника, нежели отразили какую-либо реальность по поводу знаний и убеждений респондентов, не говоря уже об «информационной модели этноса».

Оформившийся в тот же период специфический синтез между этнографией и экологией (так называемая этноэкология), также вполне рациональный по исходным интуициям, был в значительной мере подорван необходимостью сочетания теории этноса в версии Бромлея и его коллег с бурно развивавшимися в то время экологическими подходами. Подорван потому, что экологическая адаптация сообществ происходит все-таки на локальном уровне, а также на уровне микроландшафтных

единиц, а не на постулируемых в этой субдисциплине уровнях «этнуса» и «его» территории.

Централизованный характер науки в СССР многократно играл с ней плохие шутки на уровне отдельных дисциплин, делая их развитие зависимым от политики власти, с одной стороны, и личных пристрастий и прихотей ее назначенцев – с другой. В российской науке до сих пор отсутствует четкое разделение между работой администратора и исследователя, из-за чего каждый крупный администратор как бы по умолчанию обязан стать и крупным ученым, что, разумеется, принуждает таких администраторов мучительно искать теорию, которая бы отличалась от концепций предшественника и хотя бы выглядела новой для сообществ, которые они возглавили. Централизация советской науки и административно-командное ее устройство превращали конкретные дисциплины в заложников случая. И речь здесь даже не идет о шельмовании и закрытии целых научных направлений, подобных генетике, психоанализу, социологии или кибернетике, или о появлении псевдонаучных построений типа френологии, марризма, лысенковщины, новой клеточной теории О.Б. Лепешинской, этногенетической концепции Л.Н. Гумилёва или новой хронологии А.Т. Фоменко и т.п. Речь о том, что, например, в гуманитарных дисциплинах с приходом каждого нового директора головного института можно было кардинальным образом изменить проблематику исследований целой дисциплины, причем даже центральную, конституирующую саму эту дисциплину проблематику. Действовали при этом обычно всего два фактора – его величество случай и административный ресурс, позволявший не только назначить человека, не имеющего опыта исследований в данной области, взяв его со стороны, но и предоставить такому директору возможности реализовать собственное видение приоритетов и задач дисциплины. Понятно, что в любом случае теория предыдущего директора института должна была уступить место какой-то концепции, предлагаемой новым – это вытекало из логики системы организации науки, не переставшей быть советской лишь от того, что страна распалась.

Такие не поддающиеся прогнозированию внешние импульсы кардинальных поворотов в судьбе конкретной дисциплины – вовсе не исключительная характеристика отечественной системы управления наукой. «Сменевеховство» типично для определенных ситуаций, в которых время от времени оказываются не только начальники от науки, но и, например, большие поэты. Психологию этих ситуаций замечательно описал американский литературный критик Гарольд Блум в своей книге «Озабоченность влиянием» (Bloom 1997; ср. также: Bloom 1970). В ней он прослеживает психологию освобождения поэтов от влияния предшественников и достижения собственного поэтического видения, противопоставляя «сильных поэтов», способных на разрыв с традицией и осуществляющих

решительное перетолкование традиции (*strong misreading*), поэтам слабым, воспроизводящим идеи предшественников и исповедующим чужие доктрины (1997: 5, 23). Он, кстати, замечает, что желание избежать повторения и влияния присуще не только поэтам, но вообще всем мыслителям, и, похоже, действует как необходимый инструмент рождения всякой масштабной инновации. В условиях академии озабоченность оригинальностью подпитывает и политика идентичности, в контексте которой любая перемена используется как средство перераспределения ресурсов и власти или того, что П. Бурдье назвал символическим капиталом.

Три только что перечисленных перемены основной повестки исследований в рамках российской антропологии, по существу совпавших со сменой персон в директорском кресле главного в рамках тогдашней иерархии исследовательского центра – Института этнографии АН СССР (увлечение первобытностью и этногенезом при Толстове, теорией этноса и описанием этнических процессов – при Бромлее и этничностью и конфликтом, а также прикладными исследованиями в области национальной политики – при Тишкове), как бы иллюстрируют тщету всякого предвидения в этой области: трудно прогнозировать развитие дисциплины, если не знать наперед череды будущих назначенцев, их собственных устремлений и случайных влияний на их интересы. Здесь можно было бы поставить и жирную точку в теме обсуждения будущего антропологии в одной, отдельно взятой стране, поскольку обсуждать его при такой роли случайности особого смысла нет.

Однако сегодня можно говорить о появлении нескольких «но», противоречащих такому хаотическому сценарию развития дисциплины. *Первое* из них относится к постепенному, но неуклонному разрушению прежних иерархий и централизации, во всяком случае, в рамках организации антропологических исследований. Если в период с 1930-х и вплоть до начала 1990-х гг. в стране издавался один этнографический журнал, а число университетских кафедр, название которых содержало слово «этнография», можно было сосчитать на пальцах одной руки, и если все диссертации в области этнографии тогда защищались в единственном совете при головном институте, то примерно с середины 1990-х гг. число журналов, кафедр, центров, защитных советов выросло многократно, и, стало быть, навязывание единой исследовательской повестки оказалось технически невозможным.

*Второе* «но» относится к появлению и распространению примерно в тот же период Интернета, создавшего неизмеримо более легкий и быстрый доступ к широчайшему набору источников – книгам, журналам, научным публикациям по всему миру. Нужно сказать, что доступ к информации у нас прежде был также связан с иерархией и карьерой: члены академии имели возможность получать ключевые работы по их специальности напрямую из западных издательств, заказывая книги по

издательским каталогам; все остальные должны были ждать, в лучшем случае – месяцами, но обычно годами – сначала появления информации об интересующем издании, а затем еще месяц-другой получения микрофильма или самой работы во временное пользование. Правда, межбиблиотечный обмен работал безукоризненно и бесплатно, но и он был доступен лишь в библиотеках крупных городов, и потому в 1970-х и первой половине 1980-х гг. среди исследователей, работавших в региональных центрах за пределами Москвы и Ленинграда, были популярны командировки и даже так называемые экспедиции в столицы для работы в библиотеках. Столичные аспирантуры были популярны по тем же причинам – доступ к информации в них был на порядок лучше, чем в крупных региональных центрах.

*Третье «но»* связано с самим числом новых центров антропологических исследований, журналов и кафедр, советов и сообществ, имеющих свои приоритеты, специализации и спектр исследуемых проблем. Правда, как и прежде, на них влияет местное начальство, и, как и прежде, это влияние, мягко говоря, нельзя считать исключительно благотворным: в отношении тематики исследований сразу в нескольких республиканских центрах можно отметить наличие откровенно националистически ангажированных тем, в то же время элиты так называемых русских областей пытались использовать этнологов для разыгрывания «русской карты». Однако в целом умножение и дифференциация исследовательских центров сыграли положительную роль, относительно нормализовав развитие дисциплины и сделав его менее зависимым от административного ресурса и капризов назначенцев, т.е. более предсказуемым. Одно это обстоятельство превратило разговор о ее будущем в более осмысленный.

Если говорить в более общем плане, имея в виду не только антропологию, то можно отметить, что вновь возникающие узкие специализации в рамках многих наук способствовали не только фрагментации дисциплин, но и рекомбинации множества альянсов на субдисциплинарном уровне, что не только размывало границы отдельных наук, но и создавало такие конфигурации методов и подходов, которые стало сложно описывать на языке прежних классификаций. Все-таки когда мы говорим о меж- или мультидисциплинарности, мы еще различаем подходы, методы и словари участников этого синтеза, тогда как в ситуациях транс- и постдисциплинарности эта возможность становится иллюзорной. Здесь можно привести в пример социологию или антропологию Латура и его коллег, в которой антропологические и социологические подходы и методы неотделимы от анализа поведения и текстов, технологий и экологии, физики и микробиологии, геологии и права и т.д. Этот конгломерат научных дисциплин постоянно реконфигурируется, приспособляясь к исследованию конкретных проблем, и лучше всего описывается понятием *трансдисциплинарности*. Другим хорошо

известным примером могут служить современные исследования изменения климата.

Приведенные примеры являются неплохой иллюстрацией работы новой конфигурации между наукой, технологией и обществом, а основным модусом институализации меж- и трансдисциплинарных исследований становятся не профилированные по отдельным дисциплинам университетские кафедры, академические журналы и исследовательские ассоциации и их политика, а научная политика правительств, фондов и крупных корпораций. Одной из отличительных особенностей транс- или постдисциплинарных исследований, в отличие от междисциплинарных, является и то обстоятельство, что их трудно рассматривать как производные конкретных дисциплин.

Наконец, о будущем. Если говорить о ближайшем поколении исследователей и проблемах, которые с ними останутся, то, мне кажется, такими проблемами будут: 1) пока так и не разрешенные противоречия между так называемым научным или позитивистским и интерпретативным подходами; 2) между количественными и качественными методами; 3) между позициями внешнего и внутреннего наблюдателя; 4) между релятивизмом и универсализмом; 5) между эволюционным подходом и презентизмом или актуализмом; 6) между концепциями, основанными на аналитической, прагматической, феноменологической и континентальной или критической традициями в философии, вдохновляющими конкретные программы антропологических исследований. По всей видимости, значительные усилия будут приложены для интеграции всех перечисленных подходов. Кажется, становится также очевидным, что так называемый онтологический поворот в социальных науках вернет в антропологию метафизические проблемы и дискуссии и послужит основой для новых размежеваний и альянсов.

Ограниченная или освоенная и прирученная трансдисциплинарность вокруг традиционных для нашей дисциплины «точек сборки», роль которых выполняют мегапонятия, подобные *человеку* с его тематическими коррелятами – личностью, субъектом, индивидом, этнофором; *культурой* (корреляты: субкультура, традиция, ритуал, обычай); *обществом* (корреляты: племя, этнос, сообщество, коллектив, группа), т.е. синтез знаний и подходов, разрабатываемых и поставляемых, главным образом, гуманитарными дисциплинами и социальными науками, по всей видимости, будет дополняться новыми, теперь уже полноформатно трансдисциплинарными синтезами в рамках исследования и попыток решения таких глобальных проблем, как проблема изменения климата; решения проблем, связанных с влиянием человека на планету в эпоху, получившей наименование антропоцена; проблемы усовершенствования человеческих способностей, часто ассоциируемых с трансгуманизмом, искусственным разумом, освоением глубокого космоса,

ростом населения планеты, нехваткой ресурсов, прежде всего – воды, а также с рисками, связанными с бурно развивающимися биотехнологиями, глобальными сетями, роботикой и т.д. Это проблемы, в поисках решения которых антропологи участвуют уже сегодня и которые носят изначально трансдисциплинарный характер, причем в решение каждой из них оказываются вовлеченными, помимо гуманитарных и социальных наук, науки о жизни, науки о Земле, точные науки и философия. Особую проблему составляет язык или языки этих трансдисциплинарных синтезов, опирающиеся уже не только на математический символизм, или функциональный и системно-структурный подходы как универсальный язык, но и на новые активно разрабатываемые онтологии, подобные материальной семиотике Каллона–Латура–Ло.

По всей видимости, с нами на этот период останутся также «вечные» междисциплинарные темы *происхождения* (с его коррелятами – социо-, культуро-, этно-; и лингвогенезом); а также темы постоянства и изменения с их коррелятами – традицией, инновацией, эволюцией, прогрессом, инволюцией, регрессом, революцией, метаморфозом, трансформацией, воспроизводством, стабильностью и устойчивостью.

В заключение еще раз вернусь к теме дисциплинарного времени. Приложение категории времени к такому аморфному персонажу, как научная дисциплина, не может не работать как троп персонификации, одновременно персонализируя дисциплинарное сообщество и сообщая времени антропный характер. Предсказания будущего развития профессионального сообщества или научной проблематики сегодня осложняются еще и изменением темпоральных параметров самой исследовательской деятельности, что связано, в первую очередь, с мутацией дисциплинарности, ее превращением и переходом в трансдисциплинарность, в том числе и под влиянием навязываемой науке бизнес-культуры аудита. Уже сегодня мои коллеги едва ли не четверть своего рабочего времени тратят не на сами исследования, а на многочисленные отчеты и производство измеряемых показателей своей продуктивности. Внедрение аудита – одна из новых черт той конфигурации науки, общества и технологии, которая свойственна именно становящейся транс- и постдисциплинарности с ее размыванием границ между технологиями, рынком и собственно научным поиском. Другой характерной чертой этой новой конфигурации, если говорить именно о ее темпоральных измерениях, является упразднение настоящего: мы все чаще встречаемся с префиксами пост-, пре-, транс- как знаками того, что будущее стало регулярно опережать настоящее не только в политике с ее «ранним предупреждением конфликтов», «превентивной дипломатией» и «упреждающими мерами», но и в науке с ее новым планированием, диктуемым скорее структурами ожидаемого будущего, нежели проблемами актуального настоящего. Предсказания будущего раз-



вития профессионального сообщества или научной проблематики остаются в этом отношении, хотя и доступным нам, но крайне спекулятивным занятием.

В наших анналах, если говорить не только о российских антропологических журналах, наберется, наверное, около сотни статей на разных языках о будущем антропологии. Однако практически независимо от времени их публикации (вышли ли они век назад или как, например, свежий выпуск «Current Anthropology», посвященный интеграции или, скорее, реинтеграции антропологических дисциплин вокруг таких больших тем, как эволюция (Wiessner 2016)) доминирующими подходами к рассмотрению этой темы, я имею в виду будущее антропологии, остаются дисциплинарный или, как в последнем случае, интердисциплинарный подходы. О трансдисциплинарности пока речь не идет, хотя она не просто на пороге, она уже в нашем доме, хотя мы предпочитаем этого не замечать.

Проиллюстрирую вышеизложенное довольно известными примерами из области антропологии профессий. В начале 1990-х в политический обиход вошли выражения «ближнее зарубежье» и «дальнее зарубежье». По аналогии с этой классификацией альянсы антропологии в прошлом происходили, так сказать, с регионами ближнего зарубежья, а всякие попытки вовлечения в антропологическую проблематику дальних наук хотя и случались (вспомним, например, работы Грегори Бэйтсона), но оставались единичными и, в общем, незначительно влияли на антропологический мейнстрим. Сегодня ситуация изменилась довольно существенно. Антропология профессий дала мощную поросль, по общей численности своих адептов уже превосходящую любые традиционные для антропологов занятия. Я имею здесь в виду медицинскую антропологию, антропологию образования и антропологию бизнеса. Но особенно выразительный случай трансдисциплинарного синтеза представляет собой антропология науки и технологий, интегрирующая, воспользуясь шуточной классификацией, науки естественные и противоестественные. Между прочим, это ставит новые и, как кажется, беспрецедентные задачи для антропологического образования. А почему бы и нет? Ведь, например, философ, занимающийся философией математики или физики, должен в них разбираться профессионально. Мыслима ли антропология физики или математики, а не только сообществ физиков и математиков? Вовлеченность антропологов в обсуждение биотехнологий и геномики, кажется, свидетельствует о том, что такого рода интеграция вовсе не невозможна.

Я начинал с того, что, перефразировав изречение персонажа из пьесы Гр. Горина, будущее этой дисциплины «сугубо темно и исследованию не подлежит»; завершу же свое выступление более оптимистически: направление развития, во всяком случае его основные контуры, кажется, проясняются. Выглядит это будущее довольно угрожающе, поскольку, кажется, впервые от антропологов требуются не только

осведомленность о делах в соседних дисциплинах, имеющих отношение к знаниям о человеке, его телесности и практиках, но и ориентация в науках о природе, и даже в науке в целом. Грандиозные синтезы, в которые антропологи окажутся вовлеченными, конечно, будут локально ограничены, то есть привязаны к конкретным проектам и задачам, но то, что эти задачи уже в полный рост стоят перед дисциплинарным сообществом – сомнений нет.

### Литература

- Пименов В.В. Удмурты: опыт компонентного анализа этноса. М., 1977.  
 Bloom H. *The Anxiety of Influence*. N.Y.: Oxford University Press, 1997. (1<sup>st</sup> ed. 1973).  
 Bloom H. *Yeats*. N.Y.: Oxford University Press, 1970.  
 Jantsch E. Towards interdisciplinarity and transdisciplinarity in education and innovation // *Problems of Teaching and Research in Universities* / L. Apostel et al. (eds). Paris: OECD, 1972. P. 97–121.  
 Levi-Strauss C. Anthropology: Its Achievements and Future // *Current Anthropology*. 1966. Vol. 7, no. 2. P. 124–127.  
 Wiessner P. The Rift between Science and Humanism What's Data Got to Do with It? // *Current Anthropology*. 2016. Vol. 57, suppl. 13. P. 154–166.

Статья поступила в редакцию 22 сентября 2016 г.

Sokolovskiy Sergei V.

### THE FUTURE OF ANTHROPOLOGY: CROSS-, INTER-, MULTI-, A-, OR TRANSDISCIPLINARITY?\*

**Abstract.** The article discusses different forms and modes of disciplinarity and formation of disciplinary knowledge and practices. It raises the issue of multiplicity of forms of interaction between disciplinary and extra-disciplinary knowledge and practices. It analyzes some chronological paradoxes concerning modernism and postmodernism. The article focuses and draws primarily on the history of Russian anthropology and its sub-disciplines over the last fifty years.

**Keywords:** anthropology, ethnology, future, sub-discipline, disciplinarity, foresight

DOI: 10.17223/2312461X/14/2

\*Keynote speech at the I Tomsk Anthropological Forum (Tomsk, September 16, 2016)

### References

- Pimenov V.V. *Udmurts: opyt komponentnogo analiza etnosa* [The Udmurts: component analysis of the ethnoses]. Moscow, 1977.  
 Bloom H. *The Anxiety of Influence*. N.Y.: Oxford University Press (1<sup>st</sup> ed. 1973).  
 Bloom H. *Yeats*. N.Y.: Oxford University Press, 1970.  
 Jantsch E. Towards interdisciplinarity and transdisciplinarity in education and innovation, L. Apostel et al. (eds) *Problems of Teaching and Research in Universities*. Paris: OECD, 1972, pp. 97–121.  
 Levi-Strauss C. Anthropology: Its Achievements and Future, *Current Anthropology*, 1966, Vol. 7, no. 2, pp. 124–127.  
 Wiessner P. The Rift between Science and Humanism What's Data Got to Do with It?, *Current Anthropology*, 2016, Vol. 57, Suppl. 13, pp. 154–166.